

Инна Броуде-Эпштейн

**Везений
блаженная
малость**

Бостон



ИННА БРОУДЕ-ЭПШТЕЙН

*Везений
блаженная
малость*

БОСТОН • 2024 • BOSTON

Инна Броуде-Эпштейн
Везений блаженная малость. *Повесть*

Inna Broude-Epstein
A Blissful Bit of Luck. *Novella*

Copyright © 2024 by Inna Broude-Epstein

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-960533425 (pbk)

PUBLISHED BY M•GRAPHICS | BOSTON, MA

📄 www.mgraphics-books.com
✉ mgraphics.books@gmail.com

Design and Layout: M•GRAPHICS | BOSTON, MA

Фото на обложке: Пустыня Негев, Израиль

© 2024 Инна Броуде-Эпштейн

Printed in the United States of America

*В щель меж двух катастроф так удачно вписалось
Поколение мое. От фортуны — сюрприз
Нам достался. Такая блаженная малость.
Можно даже сказать: мы последние из
Тех, кому еще мерили температуру,
Тех, кто вслух говорил про любовь и культуру,
Отворяя в горячую зелень окно.*

Леопольд Эпштейн

БАБУШКИН ДОМ

Чем старше я становлюсь, тем больше тянет меня вернуться в бабушкин дом и восстановить его, исходя вдоволь и поперек.

Входная дверь открывается трудно, со скрипом, ее надо подпихнуть изо всех сил, и, сделав первый, высокий шаг через порог, попасть в крошечную прихожую, превращенную бабушкой в кухню. Вот тут, на столике, стоял черный примус: шумел-шипел и вкусно пах керосином. Я должна была обходить его стороной, не трогать руками, а вот нюхать — пожалуйста! Много лет спустя сюда втиснули, уж не знаю как, двухконфорочную плиту. Готовить на ней поначалу было боязно, но когда привыкли, то бабушка, вспоминая «примусные» годы, сначала качала головой и пожимала плечами, что означало, сколько лет му-чи-лись, а потом только качала головой, правда, несколько энергичнее: вот ведь как хорошо живем! В углу (то есть, шажок в сторону) блестят ведра с водой, сначала «с колодца», потом «с колонки», так говорит моя няня Маруся. За низкой фанерной перегородкой, которая делает кухню еще меньше, живет помойное ведро. В его сторону и смотреть не надо, потому что все равно ничего интересного там не увидишь. Ведро выносят несколько раз в день и выливают в «удобства», которые у нас на улице. Окошко, маленькое и узкое, почти не дает света, поэтому здесь всегда полутемно, даже когда горит лампочка, свисающая на закрученном шнуре. И всегда зябко, даже летом: прихожая-кухня — не А-ТА-ПЛИ-ВА-ИТ-СЯ — учит меня няня Маруся

трудному слову... Поэтому хочется побыстрее открыть вторую дверь, прямо напротив первой, и, перепрыгнув через порожек — ничего, не СПОТЫКНУСЬ! — оказаться в нашей столовой.

Столовая — потому что в ней стоит стол, покрытый клеенкой с бледными синеватыми точками от частого мытья, плотно припертый к стене. Стульев — два, первый — с одного бока, второй — с другого, а табуретку двигают то туда, то сюда, чтобы не мешалась под ногами.

Из столовой ведут две двери: первая — в нашу, мамину-папину-мою, комнату. Комната как комната, очень заставленная: тахта, моя раскладушка (чего ее убирать, если каждый вечер надо снова раскладывать?), шкаф с вещами. Ничего интересного, кроме маминых платьев и туфель на каблуках. Еще — полка с нашими книжками, моими играми и игрушками, и коврик, чтобы удобнее было сидеть на полу, с вечерними синими звездами в синих лучах. Вторая дверь похожа на ворота, потому что она из двух половинок, и они распахиваются перед тобой, как в старинных замках, в разные стороны: мол, проходите, проходите, желанные и дорогие гости... Это — наша праздничная столовая, собираться всем вместе по праздникам. В ней тоже есть стол, квадратный на четырех слоновьих ногах, конечно, без клеенки, вовсю блестящий, как зимой лед на нашем пруду, что через дорогу. По праздникам он раздвигается, чтобы стать еще больше и мы все могли бы за него усесться: и я, и мои родители, и Маруся, и бабушка с дедушкой, и их младший сын, папин брат, уже женатый, но еще без детей. Могут быть и разные другие родственники. Например, красавица Софа с огромными черными глазами и маленьким ротиком, совсем как у принцессы. Она — дочка бабушкиной сестры. Бабушкина сестра старше ба-

бушки, вся седая, морщинистая, какая-то кривоватая и страшноватая. Даже не понятно, как у нее могла получиться такая дочь-красавица. Я часто думаю об этом. Еще приходит какой-то Гриша с висячей рукой, хорошо, что левой, потому что иначе было бы трудно есть. Я все время хочу спросить у него, как он одевается, но бабушка сказала «ни в коем случае!» и поэтому я молчу.

Моему дедушке очень нравится, когда собирается много народу. Во-первых, он говорит, для того и придуманы праздники, чтобы всем собираться вместе. А во-вторых, в таких торжественных случаях всегда подается домашняя вишневая наливка. У нее особенный цвет, как будто в ней плавает солнце, удивительный запах летнего утра, а про вкус — не знаю, но, видно, неплохой, если все ее так любят. Вишню обычно покупают на базаре. Косточки из нее выдавливают специальной палочкой, а можно и булавкой, а потом, уже без косточек, вишню запихивают в бутылки — такие большие-пребольшие бутылки, засыпают сахаром и относят в погреб. От вишни руки у всех становятся красными. Бабушка с дедушкой сердятся друг на друга, потому что друг друга не слушают: бабушка считает, что она лучше дедушки знает, как вынимать косточки, но дедушка думает — наоборот. А я сижу с ними и потихоньку ем вишню: хотя и вкусно, но все-таки кисловато.

Когда стол раздвигается, он наступает на бабушкин-дедушкин диван, потому что в обычные дни это их комната. Он теснит косолапый, под стать столу, сервант с праздничными чашками, и окончательно загоняет в угол маленький деревянный столик, мой любимый, с извивами и узорами. Гораздо позже на нем появится телефон, а сейчас он покрыт салфеточкой с МЕ-РЕЖКОЙ — странное слово, да и меретка сама по себе

тоже непонятно что... А над столиком висит наша драгоценная тарелка: желто-зеленый прозрачный виноград, которого я никогда не пробовала, должно быть, очень сладкий, и несколько грецких орехов (ими меня уже угощали), один — расколотый, и внутри — вся в жилочках волнистая масляная долька. Солнца на тарелке нет, но оно есть сбоку, это я ясно вижу, потому что на ней все горит и переливается, и ободок у нее совершенно золотой.

В праздничной комнате есть еще одна дверь, самая обычная. Она никогда не закрывается, потому что за ней живет — прямо не верится! — мама моей бабушки, всегда в косыночке, в теплом халате и толстых носках. Она все время лежит на своей кровати и трудно вздыхает и охает, и нужно внимательно слушать и слышать, как она там дышит. Я туда почти не хожу. Страшновато, да и бабушка не очень разрешает, потому что я шумная, да и руки у меня, как они все считают, дырявые. Я уже привыкла, что из них все валится: и чашки, и вилки, и ложки, и даже тарелки... Стаканы мне вообще не дают, слишком мелко бьются. Бабушка никак не может позабыть об этажерке, как я ее почти что опрокинула и очень напугала ее старуху-мать. Я уже давно обратила внимание на эту этажерку, но все боялась подойти поближе, а тут получилось как-то само собой. Я увидела на ней коробку, а из коробки торчала, как мне показалось, красная, я бы даже сказала, алая лента. И ноги сами понесли меня к ней. Я ее, эту ленту, потянула, и тут все стало падать: какие-то книги, бумажки, драгоценная вазочка, потому что подаренная бабушке подругой, и, конечно же, коробка с катушками-нитками. Они так и посыпались, так и покатались в разные стороны. А лента оказалась не лентой, а каким-то огрызком тряпки. С тех пор

я туда не хожу и делаю вид, что этой комнаты вообще нет.

Впрочем, Маруся и бабушка считают, что я вообще громкая. Ногами топаю, как медведь, и это при том, что я — только кожа да кости, а когда есть не хочу, то поднимаю крик, а уж если мне моют голову над тазом, то еще хуже, тут я начинаю вопить.

— Давай-давай, — сердится бабушка, — можешь еще громче. Пусть тебя весь мир услышит! Скоро у меня у самой голова лопнет!

Хорошо, что голову не надо мыть каждый день, это тебе — не руки!

КАРТОШКА В МУНДИРЕ

В обычные дни, если дома я, бабушка и Маруся, потому что все остальные — работают и приходят, когда хотят, то мы, прямо по-царски, располагаемся в нашей маленькой столовой: я — у окошка в углу, чтобы смотреть сквозь желтый тюль, что там делается во дворе — это днем, а вечером, и особенно зимой, не упустить, когда перед темнотой все сначала бледнеет, потом почему-то синееет, и только после этого становится черным.

Маруся расставляет тарелки, сначала — ГЛЫБОКИЕ — это она так говорит. Потом звенят ложки-вилки — для каждого — и один большой нож, подалее от меня, поскольку нож еще страшнее, чем примус и помойное ведро. Бабушка уже принесла первую кастрюлю, горячую-прегорячую, машет пальцами в воздухе, и тут же идет за второй, прямо огненной, чтобы не бегать все время туда-сюда, и теперь уже дует на пальцы, что странно и даже загадочно, потому что я так делаю, когда руки у меня мерзнут.

— Буль-О-О-О-н, — пропевает Маруся.

Куриный, жирный, полезный, почему-то всегда с разваренным луком и расплзающейся морковкой. И пахнет неприятно. Но он, этот почти невозможный запах, смешивается с другим, сладким, волнующим душу и ноздри, все перекрывающим и умиротворяющим: запахом картошки, сваренной в мундирах.

По рассказам, лет до шести я ничего — из серьезной еды — не ела, кроме бульона и картошки. Бульона, потому что почти закрыв глаза, быстро как лекарство его проглатывала. Договор был прост: жидкости этой не больше пяти столовых ложек. Мне очень нравится эта цифра — пять, ведь я родилась именно на нее! А лук вылавливает Маруся, она, конечно, ругается, даже шипит иногда, как змея, но делает это проворнее бабушки. Дальше: никаких полочек, так почему-то называются куриные ноги, и других куриных ошметков, и тем более, разваливающейся моркови. Итак, бульон, раз-два-три... готовлюсь! Раз-два-три — глотаю.

— Господи! — вступает Маруся. — Прямо спектакль тут устроила... Будто червяка какого проглотила...

Но теперь уже точно не до разговоров! Где там моя картошечка, моя сладкая бульбочка?

— Запомнила! — радуется Маруся.

Еще бы, не запомнить! Чищу ее с Марусей вместе, не боясь обжечься, тороплю и тороплюсь: вот ободрали эту горячку-кожу, вот разрезали на куски и кусочки... Теперь дело за бабушкой. Нужно, чтобы она отрезала как можно больше сливочного масла, чтобы получились настоящие масляные реки, присыпанные солью. Бабушка всегда сама отмеряет масло, никому не доверяя, потому что оно куплено на целую неделю. Я смотрю ей прямо в глаза. Они — небольшие и серые, но ко-

гда-то были, так она объясняла, большие и голубые. Я смотрю ей в глаза — ВЫ-РА-ЗИ-ТЕЛЬ-НО! Еще одно трудное слово.

— Получай! — и мне в тарелку плюхается желтый мягкий кусок.

Есть такое слово: блаженство! Я его уже хорошо понимаю.

Заканчиваются мои трапезы облизыванием пальцев. До сих пор не понимаю, почему взрослые не обращали на это внимания.

НАШ ДВОР

После обеда можно пойти в свою комнату и там тихо — слышишь, тихо! — поиграть. Но если на улице не холодно, не льет дождь, не падает град, не сверкают молнии, не растекаются морями лужи... и так далее, и так далее, то можно пойти гулять. У меня никогда не было и минуты колебаний: конечно, гулять, и чем быстрее, тем лучше: в валенках с галошами или в теплой кусающейся кофте, или в платье и сандалях...

Там, во дворе, я любила наш дом еще больше, чем внутри: за его деревянные бревенчатые сказочные бока, за крыльцо, с которого можно было прыгать и прыгать, сначала с самой первой ступеньки, потом со второй, а потом — сразу через все три. За сирень, которая весной кружила голову своими запахами, за боярышник, по осени он чернил губы. К малиннику я близко не подходила, потому что он царапался как сумасшедший, но терпеливо ждала, когда в чашку наберут спелых ягод, и тут же на крыльце медленно, ягоду за ягодой, разминала зубами и размазывала языком, и только потом глотала. А уже после этого шла проверять бочку, подставленную под длинную

трубу, идущую прямо с крыши. В ней собиралась дождевая вода для поливки и мытья головы. Пить ее было нельзя, а вот поболтать в ней руками или даже полить себе на ноги или брызнуть на голову — пожалуйста, особенно если жарко.

А от бочки — два шага до беседки. Беседка у нас больше для украшения, чем для пользы, так говорит дедушка. Сидеть в ней — неудобно, слишком узкие скамейки. Но у дедушки была такая же на Украине, в самом нежном городе на свете (иначе почему бы он назывался Нежин?). Дедушка специально сделал похожую — для памяти, «потому что нет ничего важнее памяти, доченька!» — это он так почему-то называет меня. Я же могла забраться на узенькую скамейку с ногами и с высоты наблюдать за бабушкиными цветами — желтыми, белыми и красными. Синие она не любила.

Летом бабушка их поливала чуть ли не каждый день, обирала подвявшие цветочки и листики, и складывала их сначала в руку, отчего она становилась грязновато-зеленоватой, а потом в банку-жестянку, которую переставляла с места на место, чтоб была поближе... «Сколько бутонов! Ах, сколько бутонов!» — шепчет она сама себе, но я-то слышу, потому что сижу в беседке.

Еще, именно из беседки, я могла, как бы с возвышения, насмотреться на пустую теперь собачью будку. В ней жила Дезька, моя рыжая, мохнатая, ласковая собака, но она умерла от старости. Дедушка гладил меня по голове, целовал и говорил, что у нее была очень счастливая собачья жизнь, она не была ни голодной, ни холодной, ни бездомной и дожила почти до ста человеческих лет, и никто никогда даже не пытался забрать ее на мыло.

— Убери ты, Яша, наконец, эту конуру! На доски, что ли, разбери! — пристаёт бабушка.

Но когда эту конуру и убрали, для меня все равно ничего не переменилось. Из беседки я посылаю Дезьке свои приветы и любовные слова. Где-то же она должна была быть!

МОЙ ДРУГ ЛЕНЬКА

Наш садик и дом обнесены забором. В заборе, конечно, есть калитка, и через нее я выхожу в наш большой двор. Это мне разрешают, но я знаю, что в окно поглядывают и бабушка, и Маруся, а Маруся еще иногда выскакивает на минуточку на крыльцо и громко кричит мне: как дела?

Как дела? Хорошо! Вот, рисую себе классики палкой на земле, прыгаю то на одной ноге, то на двух, то прямо, то боком... Но если во двор выходит мой единственный друг Ленька, то все сразу меняется и становится замечательным! Впрочем, и я у него — тоже единственный друг, потому что других детей в нашем дворе нет.

Ленька был старше меня года на два-три, ходил в школу и жил в соседнем доме. Одноэтажный дом этот был разделен на две половины, в одной — обитали Ленька с мамой и бабушкой, в другой — старая ведьма со своей немолодой дочкой, тоже ведьмой. По утрам старая ведьма выходила в наш общий двор, аккуратно прикрывая за собой калитку, чтобы никто туда, к ним, не зашел и ничего там не увидел, и начинала метлой из жестких прутьев мести землю. Почему-то все вокруг начинало скрежетать, особенно, если она попадала в лужи, в воздухе темнело, я сама видела, и в этих клубах то ли дыма, то ли пыли она проворно летала туда-сюда. Потом из калит-

ки выходила младшая ведьма, одетая в серый платок и серое пальто, чтоб никто не знал, кто она на самом деле. В одной руке она несла бидон, в другой — сумку. Она ласково улыбалась старой ведьме и, наулыбавшись, уходила из нашего двора на улицу.

Ленька рассказал мне, что каждый вечер ведьмы варят у себя зелье, которое страшно воняет, даже у них на половине дышать невозможно, потому они его то ли едят, то ли пьют и воют после этого свои ведьмачьи песни.

— Ты слышала?

— Нет... — отвечаю я неуверенно, но мне сразу кажется, что слышала.

Однажды мы возвращались с бабушкой из магазина и во дворе столкнулись со старухой. И моя бабушка, как ни в чем не бывало, стала с ней разговаривать, и даже улыбаться. По мне бегают мурашки страха, и я тяну ее за руку — домой!

— Извините, — говорит ведьме бабушка, — моя внучка, видимо, куда-то хочет!

— Неужели ты ее не боишься? — спрашиваю я бабушку дома.

— А почему я должна ее бояться?

— Она же — ведьма, пьет зелье и, наверное, на метле своей по ночам летает!

— Что за глупости! Какая метла! Несчастливая одинокая женщина... Всех на войне потеряла. Последнюю племянницу к себе забрала.

А мы с Ленькой думали, что дочка... Впрочем, я знаю, что такое племянница, поскольку я сама племянница. Я знаю, что такое «одинокая и несчастная». Это как Аленушка и как братец Иванушка, но что такое — «война»?

При первой же встрече спрашиваю у Леньки.

— Война — это когда все стреляют и русские побеждают! — отвечает он мгновенно. — Можем

поиграть: я буду — русские, а ты — немцы. Вот тебе автомат, из него стреляют! Понимаешь?

Он протягивает мне тоненькую ветку, которую подбирает с земли.

— А мне нужен пулемет...

Он бежит за дом, у него там секретное место, и приносит — большую палку.

— Нечестно! — говорю я. — У меня — веточка, а у тебя — палка!

— Во-первых, пулемет всегда больше! Понимаешь? А потом — какая разница! Ты хоть сто пулеметов возьми, а конец у тебя один! Кричи громко «Хайль! Хайль!», беги вперед и стреляй вот так: «ту-ту-ту-ту...» А вот здесь, в засаде, я тебя уже давно поджидаю! Ты меня не видишь. Но я даже не высовываюсь, а так — приподнимаюсь, и — трах-тарарах — убиваю тебя! Капут!

— Падай же, чего стоишь, я в тебя уже сто раз попал!

Я падаю на сыру землю (от вчерашнего дождя), ушибаю коленку, рву чулок, и взлетаю вверх в Марусиных руках! И так и не успеваю по-настоящему изобразить из себя жалкую немецкую смерть.

Между прочим, я обожаю Марусины руки. Они у нее большие и всегда горячие. Когда она поднимает меня, я и вправду взлетаю, как будто на высокую гору, потому что Маруся — великан. Она выше дедушки и даже папы, о женщинах и говорить нечего. Сейчас она поднимает меня реже, чем раньше, все-таки я стала тяжелее, но раньше я всегда находила покой на ее роскошной груди. Про роскошную грудь сказал однажды мой дядя, папин брат, я случайно услышала, но мне понравилось. Шея у нее тоже мягкая и еще горячеей, чем руки, и в нее сладко уткнуться и даже поплакать. Раньше, если что, я так и делала, но теперь меня больше интересуют ее зубы. Они называются

«щербатые», то есть такие волнистые с полосочками. Иногда я прошу у нее разрешения их потрогать, так, легонько, потому что смотреть на них всегда можно. Маруся, если не сердится, то всегда улыбается.

Вполне возможно, что жизнь именно в этом доме в Сокольниках, вернее, в Черкизово-Богородском, с сиренью, малинником, беседкой — навсегда определила мое представление о счастье... Была она, эта жизнь, почти что деревенской. За водой ходили с ведрами: у Маруси — два, у бабушки — одно, у меня — тоже одно, но маленькое; на пруду через дорогу весной и летом квакали лягушки, а зимой можно поскользиться на ногах по льду; вечно лают собаки: одна начинает, другие подхватывают. Под их лай было очень спокойно засыпать: звуки как будто растворялись в воздухе, превращались в сладкий гул и обволакивали, как теплое одеяло. Я любила баню, но меня чаще мыли дома; обожала продуктовый магазин, в котором мне покупали барбариски, и была немножко влюблена в продавца дядю Ньюму. Он всегда выходил из-за прилавка и, потрепав меня по волосам, говорила странное слово — «амейделохе»; я рвалась на прогулки с дедушкой, хоть даже за руку, и мы доходили далеко, до трамвая, на котором можно было доехать до метро, а на метро — до Красного Кремля... Но главное — я купалась во всеобщем тепле и любви: так сладко было быть единственной дочкой, единственной внучкой, единственной племянницей, единственной Ленькиной подружкой... Да и у Маруси я тоже единственная.

Умение жить в моменте — счастливое и очень детское.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Бабушкин дом	7
Картошка в мундире	11
Наш двор	13
Мой друг Ленька.	15
Папа, мама, я.	19
Врачи и пациенты.	22
Снег, лед, прорубь.	25
«... не выпускают гулять одну»	27
Переезд	29
Мой мост	32
Соевый батончик	35
Бездомные собаки	38
Каша с комками	39
Тетин жених	41
Сталин и Смерть	43
Овраг с ласточками и жаворонками	45
Двор Елены Прекрасной	48
Разбойница	51
Ваня-Ванечка	54
Еще — о Ванечке	56
Школа	58
Круглый пенал.	61
Любовь, любовь	64
Устав юного пионера	66
С семи до восемнадцати	69
Уроки с переживаниями	73
Свободное время	78
Любите ли Вы читать?	81
Важнейшее из искусств	83

Дым костра	86
Одиннадцатый класс	92
Чеховский музей и «Московский комсомолец»	98
Борис Евсеевич — ангел-искуситель	101
Факультет журналистики	106
«Студенческий меридиан».	109
Год — шестьдесят восьмой!	111
Недгар.	115
Работа как работа	122
Банка с клеем	126
Перемены, перемены...	127
Взрослая жизнь	130
«Искусство кино»	135
Смысловые связи	137
Мама	139
Уцепиться за соломинку	141
Занятия в старом доме	143
Разговоры об отъезде	147
Дача в Быково	150
Коллективное творчество	155
Глаза Гульки	158
Сногшибательные повороты.	160
«Езжайте к брату».	164
Короткое директорство	167
Замок графа Альдобрандини	170
Километрика.	176
Америка, Америка!	180



ИННА БРОУДЕ-ЭПШТЕЙН окончила факультет журналистики МГУ в 1972 году. Однако ее журналистская карьера началась в газете «Московский комсомолец», когда Инна была еще старшеклассницей: там были напечатаны ее первые заметки. В 1970-х она опубликовала множество статей и интервью в журналах «Искусство кино», «Театр», «Советский экран», в коллективных сборниках издательства «Искусство».

С 1980 года она живет в Бостоне, США. Защитила докторскую диссертацию в университете Брандайс, 18 лет преподавала там русский язык, литературу и историю российского и советского кино. Публиковала рассказы в периодике, издала несколько книг, среди них: «От Ходасевича до Набокова», «Бабка, бабушка и другие», «Такое вот кино», «Равновесие».

На рубеже веков Инна решила уйти из университета и специализироваться на том, чем увлекалась с юности. Получив лицензию в известном центре йоги «Крипалу» в Беркширских горах, она преподавала йогу в собственной студии. Она также закончила Бостонскую школу Восточной медицины и 20 лет практиковала шиатсу.



Книга, которую вы держите в руках — «Везений блаженная малость» — биографическая, традиционно начинающаяся с первых детских впечатлений, растущая вместе с «alter ego» автора и заканчивающаяся переходом жизни в новую фазу — эмиграцией из СССР в США. Хронологически — это меньшая половина биографии автора, но у читателя не возникает ощущения, что повесть оборвана, поскольку для Инны, как и для многих других, эмиграция расколола жизнь надвое.

Яркость восприятия, кажущаяся непритязательность повествования, простота стиля, полное отсутствие претенциозности — делают серьезную повесть легкой и увлекательной для чтения. Она оставляют чувство близкого знакомства с автором.

Инна по-прежнему пишет рассказы, маленькие повести, рецензии на фильмы. Ей кажется, что сейчас она созрела, чтобы рассказать о второй половине своей жизни, которая началась в Бостоне.



ISBN 978-1-960533-42-5



90000 >



9 781960 533425